

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Первые студенты (Уральские рассказы)

Впервые напечатан в журнале «Северный вестник», 1887, № 1. При жизни писателя неоднократно перепечатывался в составе «Уральских рассказов». Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», издание четвертое, М., 1905, т. III, с исправлением опечаток по предшествующим изданиям.

Основу этого рассказа составили реальные факты. О встрече со студентами на приисках во время каникул и чтении под их руководством естественнонаучной литературы Мамин-Сибиряк рассказал в своих воспоминаниях «Из далекого прошлого», которые отличаются фактической достоверностью. «Мне было лет пятнадцать,— писал он в автобиографических очерках «Из далекого прошлого»,— когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или, по-заводски, доверенным, поступил туда быв-, ший студент Казанского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе

жил еще другой бывший студент, Александр Алексеевич, который, главным образом, и посвятил нас в новую веру. В конторе, на полочке, стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешотт, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манящий к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, как взяться «с самого начала», чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе».

В рассказе «Первые студенты» автор выразил свое горячее сочувствие передовым людям шестидесятых годов. Мамину-Сибиряку были дороги идейные и нравственные принципы демократов-шестидесятников. Сознание необходимости бережно хранить и развивать эти демократические принципы проявилось во многих его произведениях, в частности, в одном из последних его рассказов, «Мумма».

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0016
III.....	.0026
IV.....	.0035
V.....	.0047
VI.....	.0057
VII.....	.0069
VIII.....	.0082

Как-то странно сказать: мои воспоминания, потому что давно ли все это было? Вчера, третьего дня — так живо проходят пред глазами разные сцены, разговоры, лица... А между тем несомненно, что все это уже отошло в область прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым, как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, что вот это случилось пятнадцать лет назад, а то двадцать.

Да, двадцать лет тому назад я был большим подростком — самый «неблагодарный возраст», когда человек от ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колебаний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в туманную даль неизвестного будущего. Помню те приливы юношеской гордости, которые сменялись периодами сомнений и самоуничижения. Совершался глубокий внутренний перелом, какой наблюдается у животных в пору первого линяния или перемены

всей кожи. Тянуло к живым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то беспричинный страх, заставлял искать одиночества.

Лично для меня в этот критический период спасением являлась охота, — я говорю о лете, когда все время было свободно.

Приезжая на каникулы в один из уральских горных заводов, я большую часть времени обыкновенно проводил с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать ночевки по лесным избушкам или где-нибудь на прииске, в старательском балагане, — было истинным наслаждением после школьных занятий в среднеучебном заведении. Это было счастливое время, хотя к осени обыкновенно я превращался в порядочного дикаря.

Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был один из молодых заводских служащих. Раз мы как-то потеряли друг друга около горы Мочги. Вечерело. В лесу темнеет быстро, и мне хотелось засветло выбраться из ельника куда-нибудь на ночлег. Ближайшим удобным пунктом для такой цели был прииск Мочга — стоило только спуститься по реке

версты две, а там и прииск и знакомые мужики. Когда торопишься, дорога всегда кажется длиннее. Как я ни спешил, быстро шагая по ельнику, но вышел на прииск уже в сумерки. В лесу поднялась тяжелая ночная сырость, все предметы кругом принимали самые фантастические очертания, и я был очень доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное пятно прииска.

Картина прииска хорошим летним вечером замечательно оригинальна: весь лог, точно молоком, залит густым белым туманом, по уторью у лесной опушки приветливо мигают около старательских балаганов огоньки, пахнет гарью и дымом, а по логу из конца в конец волной ходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, которая уже покрывается росой; начинают попадаться пробные шурфы, едва защищенные брошенной сверху хворостиной или валежником, — нужна большая осторожность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди приисковой городьбы. В лесу отрывисто бренчат боталами пущенные на волю лошади. Из плывущего уровня тумана далеко горбится крыша промы-

вальной машины, точно спина какого-то чудовища. Вот и старательские балаганы — около огней паузнают пошабавшие работу семьи. Слышится ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются чугунные котелки с приисковым варевом, бабы пробуют ложками свою стряпню, коегде к огню просовывается добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная и слишком близкая моему уральскому сердцу.

Балаган старого кержака Потапа стоял как раз напротив приисковой конторы, и я еще издали заметил сидевшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и сам Потап в кумачной красной рубаше, и его жена, старуха Архиповна, и дочь Солонька, и сын Гордей со снохой. Звонко тьякнула на меня точно выскочившая из-под земли собачонка Курепко и, понюхав воздух, ласково завиляла хвостом.

— Мир на стану... — проговорил я стереотипную охотничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от костра, и только хотел ударить приятеля по плечу, но вовремя удержался: это был совсем не он, а какой-то незна-

комый молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах и в мягкой пуховой шляпе на голове.

— Откедова господь несет, родимый мой? — заговорил сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек.

— Куды девал товарища-то?..

— А разве он не приходил?..

— Нет, не слыхать... Может, к другому к кому в балаган завернул, да как будто не тово, не слышно.

— Ну, значит, разошлись.

— Известное дело: в лесу-то часто глаза отводит, особливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выдешь наоборот... Как помоложе-то был, так лесовал тоже, с ружьишком, значит, и очень хорошо это знаю. Эк-ту одинова верстов с двадцать задарма прочесал... Вот оно какое это самое дело!..

По необыкновенно ласковой разговорчивости старика Потапа и по особенной неприветливости старой Архиповны я сразу понял, что старик выпивши, а так как была середина недели, когда ему выпивки не полагалось, то причиной веселью был, конечно, молодой че-

ловек в пуховой шляпе, как и оказалось после. Потап заметно покраснел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял любимое раскольничье словечко: «родимый мой». Ворот красной, запачканной в приисковой глине рубахи заметно стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улыбаясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Маленькая темная бородка, темные усы и брови придавали старику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных волосах только еще начинала серебриться седина; лицо было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие морщины; Сын Потапа — Гордей, наоборот, казался старше своих лет и глядел исподлобья, как волк. Это вообще был неприветливый и неразговорчивый малый, уродившийся ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Старуха Архиповна когда-то была очень красивая баба раскольничьего склада — высокая, чернобровая, сильная, таких много попадается в старинных раскольничьих семьях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отличается большинство раскольничьих старух, точно она раз и навсегда рассерди-

лась, что отдала всю свою молодость и красоту дочери Солоньке. Эта последняя не вышла в мать только ро» стом, но зато уродилась такая крепкая, как сколоченная. Солонька всегда щеголяла в ситцевых сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством — к ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солоньки было белое с легким загаром и румянцем; черные брови, сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной приисковой красавицей.

— Можно заночевать у вас? — спросил я из вежливости, устанавливая свое оружие к балагану.

— Заночуй, коли глянется... — отвечал Потап, мигая с особенной любезностью. — Только у нас там ребенчишко... в балагане, значит. Внучок мой... ну, так, пожалуй, тово... препятствовать только будет. Тоже господское дело, а он мужик, разинет хайло-то...

— Оно точно, что не способно... — заметила угрюмо Архиповна. — Животом скудается третью неделю ребенок-то, замаялись с ним...

— Да вот что, господин охотник, пойдемте

к нам в контору ночевать? — неожиданно предложил мне молодой человек в пуховой шляпе.

— В сам-деле, Михаил Павлыч... — подхватил Потап. — Это куды порезонистее, чем в балагане, потому ребенчишко... не укажешь тоже ему, пострелу.

Мне оставалось только поблагодарить и из вежливости отказаться, но молодой человек продолжал настаивать, так что пришлось согласиться. Я только теперь рассмотрел таинственного незнакомца — это был белокурый молодой человек с тонким лицом, большими голубыми глазами и жиденькой растительностью на остром подбородке.

— Так пойдемте... — заговорил молодой человек, поправляя свою шляпу без особенной видимой причины. — Петька теперь как раз чай пьет. Ну, прощай, Архиповна... Когда ко мне в гости-то придешь?..

— А вот как курицы запоют по-петушиному, так я к тебе и подойду... Водки поболе запасай...

— Ах ты, моя матушка... — ласково протянул молодой человек жиденьким тенорком и

задумчиво засмеялся.

Когда мы пошли от балагана, прямо через прииск, потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спросил провожавшего нас без шапки Потапа:

— Это что старуха-то твоя сердится все на меня?

— А от глупости от своей от старой, Михаил Павлыч... — бормотал Потап, забегая вперед. — Вот я, значит, как уподобился шкаличку, ну, ей и обидно. Одно слово: баба... волос долог, и чтобы настоящего... и нет ево, настоящего-то. Как перед истинным Христом, родимый мой...

Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону и пнул ногой стреноженную лошадь прямо в живот. Не ожидавшая нападения лошадь неловко поднялась на дыбы и тяжело начала скакать под гору.

— Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап? — спросил я.

— А так... ишь, место где нашла! Еще испугает, пожалуй...

Остановившись, старик каким-то унижен-

ным тоном прибавил:

— Михал Павлыч, родимый мой...

— Чего тебе?

— Ах, родимый мой, разозлил ты только меня... а? Ну, какой я теперь человек... так, только замахнулся.

— Да ведь водки нет больше: всю выпили.

— А в конторе?.. Эх, Михал Павлыч, уж я заслужу, родимый мой... верно тебе говорю. Только один стаканчик бы...

— Хорошо. В конторе, кажется, еще оставалась водка.

— Уж я знаю... верно Михал Павлыч, родимый мой, да я... вот сейчас провалиться...

Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки и шурфы, потом перешли плотнику и начали подниматься к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными окнами.

— Михаил Павлыч, вы извините меня... я не помешаю вам? — спросил я, когда мы подходили уже к самой конторе.

Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал какой-то неопределенный звук и опять добродушно засмеялся, — мне нрави-

ЛОСЬ, КАК ОН СМЕЯЛСЯ.

— Петька чай пьет, — проговорил Михаил Павлыч, бойко взбегая на шатавшееся крылечко приисковой конторы.

Мы вошли. Потап из вежливости остался на крылечке. Приисковая контора состояла всего из одной длинной комнаты, выходившей двумя окнами на прииск. Между окнами стоял большой стол, заваленный книгами, бумагами, железными банками из-под золота, гильзами и т. д. Один угол стола был очищен, и на нем стоял кипевший самовар. У окна на деревянном табурете сидел плечистый черноволосый мужчина в золотых очках и читал книгу — это и был Петька, как я имел право догадаться.

— А я гостя привел, Петька, — торопливо заговорил Михаил Павлыч, по пути скидывая свою сермяжку. — Позвольте отрекомендоваться: Михаил Павлыч Рубцов и Петр Гаврилыч Блескин, студенты казанского университета... Просим любить и жаловать.

Мне оставалось отрекомендоваться, в свою очередь, и помню, что я сильно сконфузил-

ся, — меня резнуло по уху заманчивое слово «студенты», тогда как я просто был воспитанник среднеучебного заведения и притом находился в самом неблагоприятном возрасте начинающего молодого человека. Меня особенно смутила манера Петьки здороваться молча, причем он чуть вскинул на меня свои серые добрые глаза. Потом у Петьки была такая великолепная темная борода, тогда как воспитанникам среднеучебных заведений полагается какой-то мерзкий пушок, точно у цыпленка. Мне показалось даже, что Петька взглянул на приятеля с немым укором, дескать, зачем ты привел сюда эту дрянь...

— Ага... воспитанник... так!.. — повторял Михаил Павлыч и, повернувшись на одной ножке, каким-то пискливым голосом спросил — А вы с чем чай употребляете: с ромом или с коньяком?.. Ни то, ни другое?.. Жаль, значит, Америки не откроете. Та-та, ведь с нами Потап пришел, вот и компания... Эй, Потап, гряди в гридницу, и возрадуемся, яко радуется пьяница о склянице.

Потап не заставил себя просить и высунул в приотворенную дверь одну голову с усилен-

но моргавшими глазками.

— Михаил Павлыч, родимый мой...

— Да иди, черт деревянный!..

Перешагнув порог, Потап остановился у самых дверей я забавно скосил глаза в сторону Петьки — я вполне понимал старика.

— Это ты Петьки боишься? — спрашивал Михаил Павлыч, вытаскивая бутылку с водкой. — Ого, нагнал он на тебя холоду...

— Уж это точно... Петр Гаврилыч постепеннее много будут вашей милости, Михаил Павлыч. Уж ты извини меня, родимый мой, на глупом слове...

— Верю... Ну, будет тебе дурака-то валять, Потап. Вот на, выпей стаканчик и марш к старухе...

Потап дрожавшей рукой принял стаканчик, перекрестился, отвесил поклон хозяину и выпил так аппетитно, что Михаил Павлыч даже крякнул от удовольствия.

— Вот это я люблю... — похвалил он старика, налил себе стаканчик и фальшиво запел:

*Мы петь будем и гулять будем,
А и смерть придет — помирать
будем.*

Пока Михаил Павлыч выпивал свою порцию, Потап почтительно выпятился в дверь.

— Се что красно и добро есть: живите, братие, вкупе, — проговорил Михаил Павлыч, пряча бутылку, — а посему, Петька, мы будем чаи распивать.

Петька молча налил нам стаканы и опять уткнул нос в книгу, точно он был чем-то очень недоволен.

За чаем я успел рассмотреть нехитрую обстановку конторы, то есть две кровати, сооруженные на живую нитку, железный сундук, служивший кассой, дрянное ружье на стене, висевшую в углу волчью шубу, гитару и большую полку, набитую книгами. На окне тоже лежали книги, весы для приемки золота, приготовленный для работы хороший микроскоп, банка с плававшей лягушкой и несколько стеклянных трубочек, какие употребляют при химических опытах.

— Вы что же это, господин воспитанник, чаю мало пьете? — спрашивал Михаил Павлыч, когда я отказался от четвертого стакана. — Сие не есть укоризненно даже и детскому возрасту... Петька, валяй мне пятый сосуд,

ибо и пити вмерти и не пити вмерти, так лучше ж пити и вмерти!.. Так, молодой человек?..

Михаил Павлыч говорил за всех, пил стакан за стаканом, отдувался, вытирал лицо платком и от удовольствия даже болтал короткими ножками. Он вглядывался в меня прищуренными близорукими глазами, улыбался и продолжал болтать, как школьник.

— Ух, задохся, отцы мои!.. — заявил он, наконец, и распахнул окно. — Этакая благодать стоит... Петька, очнись, ведь умирать не надо! Да посмотри ты в окно-то...

Петька, чтобы отвязаться, заглянул в окно и опять уткнулся в свою книгу. А летняя ночь была действительно замечательно хороша... От самой ронторы разлился по всему логу волокнистый туман, за ним, у опушки леса, как волчьи глаза, светились старательские огоньки, а над всей этой картиной глубокой бездонной шапкой вставало искрившееся небо. Где-то в тумане скрипели два коростеля, смутно доносились звуки лошадиных ботал и лай перекликавшихся собак. В окно вливалась свежая струя ночного воздуха и несла с собой смолистый аромат елового леса и душистых

лесных трав. Я даже пожалел, что ушел из балагана Потапа в контору, — там у огонька так хорошо теперь.

Мы заговорили об охоте. Михаил Павлыч тоже был охотник, хотя по близорукости плохо видел дичь.

— А вот мы завтра утром под Липовую гору сходим, — говорил он, высовываясь в окно и всей грудью вдыхая ночной воздух. — Вёдро установилось; загубим рябцов пять... Петька, слышишь?

— Что такое?

— Тьфу ты, окаянная душа... Рябцов, говорят тебе, принесем.

— Ага... отлично.

Петька был тоже в простой ситцевой рубашке, в шароварах и в такой же шерстяной поддевке, как у Михаила Павлыча. Заложив ногу за ногу, он продолжал читать и время от времени сосредоточенно хмурил брови.

— Это ваша гитара? — спросил я Рубцова, когда он заметно притих и задумчиво смотрел куда-то в туман.

— А вы играете?

— Немножко.

— Вот это великолепно...

Не помню хорошенько, с чего я начал показывать свое искусство, но потом заиграл известную казанскую студенческую песню:

*Где с Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Тиногрязный Булак
обнимается.*

Петька оставил книгу и начал смотреть задумчиво на гитару. Рубцов наклонился к моему плечу, и я чувствовал на своей щеке его горячее дыхание, а потом он со слезами на глазах обнял меня и даже поцеловал.

— Голубчик, миленький... вот уважил-то!.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Ну, еще разик... Петька, очнись!.. Вот именно так:

*Тино-гря-а-азный Бу-лак
обнима-а-а-ается!..*

Рубцов вытащил спрятанную бутылку и залпом выпил новый стаканчик. Он походил на сумасшедшего и несколько раз бросался обнимать Петьку и кончил тем, что швырнул его книгу в угол.

— К черту... все к черту!.. — кричал он, бегая по комнате. — Gaudeamus, juvenes dum sumus....[1] А ну-ка еще эту, ну, как ее... ее... Да вот:

*По чувствам братья мы с то-
бою...[2]*

Я знал и «эту». Рубцов пел под аккомпанемент с увлечением, хотя страшно фальшивил и сердился на самого себя. Петька тоже подтягивал свежим ровным баском, какой бывает только у таких здоровяков. В порыве восторга Рубцов как-то машинально хлопнул второй стаканчик, заметно покраснел и долго смотрел на менг улыбающимися, но печальными глазами — последнее было его особенностью.

— Голубчик, понимаете ли вы... ах, нет, надо это пережить... да, пережить!.. — торопливо заговорил он, роняя слова. — Ведь это огнем по сердцу... это жизнь... Петька, помнишь?..

Схватившись за голову, Рубцов заплакал. Это было так неожиданно и непонятно для меня, что я оставил гитару и смотрел то на ходившего по комнате Рубцова, то на спокойно

попыхивавшего папирской Петьку. Заметив мое смущение, Рубцов улыбнулся сквозь слезы и взял у меня гитару.

— Позвольте, голубчик, я вам сыграю мою единственную... — говорил он, усаживаясь с гитарой на окно. — У меня, как у волка, всего-навсего одна песенка... Вперед извиняюсь за свое козлогласие.

Своим фальшивившим тенориком Рубцов запел старинный романс:

*В хижину бедную.[3]
Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь...*

— Нет, это не то... — заговорил он, оставляя гитару. — Нука еще... Помните, у Иловайского во всеобщей истории есть анекдот? Пировал король Артур со своими рыцарями — может быть, и не Артур, ну, да не в этом дело! — на дворе темная осенняя ночь; в зале, где пировали рыцари', горели огни, и вдруг влетает маленькая птичка... Рыцари задумались, а птичка улетела в окно. Один рыцарь встает и говорит: «Король, эта птичка напоминает мне человеческую жизнь, у которой темно впере-

ди и назади...» Голубчик, вот и студенческие песни то же, что птички, — они напoм инают нам о нашей жизни... Кажется, Петька, я начинаю завираться и немножко того... что-то как будто не подходит... Ну, да все равно, если не теперь, так после поймете меня. Нет, мне решительно душно здесь — пойдемте на воздух, господа...

На поляне, между конторой и какими-то Намбарами, кучером Софроном был разложен небольшой костер. На огонь появился опять Потап и бестолково суетился, мешая Софрону.

— Ты еще все здесь? — удивился Рубцов.

— Родимый мой... Михаил Павлыч... — бормотал Потап и расслабленно махал рукой. — Уважил ты меня... то есть, ах, как уважил!..

Софрон, молчаливый, красивый парень, как-то брезгливо старался не замечать пьяного старика и несколько раз, будто невзначай, толкнул его локтем. Было уже часов девять. На восточной стороне неба, из-за Сосуна-'Камня, всплыла длинная туманная полоска и медленно тянулась к ярко блестевшему месяцу; зубчатая линия ельника, окружавшего прииск со всех сторон, точно была посеребрена. Горная даль, видневшаяся в приисковую просеку, совсем потонула в сквозившей белеватой мгле. Ближе лес, кусты и пригорки слились в сплошные темные массы. Густой

туман по-прежнему заволакивал весь прииск, и только кой-где еще мелькали догоравшие огоньки, — народ спал, завтра нужно было подниматься на работу вместе с солнцем. Воздух был теплый, и над огнем скоро с тонким писком закружились неугомонные комары. Изредка налетала ночная птица и, как брошенный камень, опять пропадала в окружающей темноте.

Мы поместились на разостланной сермяжке Рубцова и долго сидели около огня молча, покуривая папиросы. На минутку пришел Петька, посидел на корточках около огня, помолчал и поднялся уходить.

— Петька, ты куда? — окликнул его Рубцов.

— А спать... — лениво ответил Петька, потягиваясь.

— Ну, черт с тобой...

Рубцов, видимо, был недоволен бесчувственностью приятеля и нервно теребил свою жиденькую бороденку.

— Эх, выпить надо... — вспомнил он и послал Потапа за бутылкой.

Старик, как собака, все время сидел в по-

читительном отдалении и ждал поживы от загулявшего барина.

— Петр Гаврилыч к черту меня послал... — объявил Потап, появляясь с бутылкой. — И еще такое словечко завернул, родимый мой... Не слушай, теплая хороминка!..

Выпив стаканчик, Рубцов опять повеселел и налил водки Потапу за труды. Поплевывая в огонь, он начал расспрашивать меня, где я учусь и куда думаю поступать по окончании курса.

— В университет?.. — повторил он задумчиво. — Отличное дело... Эх, я сам бы опять поехал учиться туда, с первого курса... Ей-богу!..

— Вы кончили курс?

— Я?.. Я-то не кончил, а вот Петька кончил — кандидат естественных наук. Ну, да это все равно... Не знаю, как вам удастся, а мы пожили в свою долю. Поедете по Волге мимо Казани, поклонитесь от меня... так попросту: снимите шапку и в пояс. Да, было пожито, молодой человек... Хороших людей видели, умные речи слушали, а вот теперь на свежую воду выплыли...

Увлечшись студенческими воспоминаниями, Рубцов с воодушевлением рассказывал о своей жизни в Казани — о профессорах, о сходках, о товарищах, о хороших книжках. Понятно, что я слушал его, затаив дыхание. Это был первый живой человек, который заговорил о том, о чем приходилось читать только в романах. С другой стороны, я не мог не сознавать своей пассивной роли в этой сцене — Рубцову необходимо было высказаться, и вот он обрадовался живому человеку. С своей стороны, я мог только рассказать о скучной и однообразной жизни «воспитанника среднеучебного заведения», причем постоянно берегся, чтобы не сказать чего-нибудь глупого. Рубцов замечал мои усилия и улыбался своей хорошей улыбкой. Он обладал секретом держаться с той простотой, которая так обаятельно действует на неопытную юность: я был в восторге от моего нового знакомого и чувствовал, как моя голова начинает сладко кружиться от поднятого в ней вихря мыслей. В самом деле, это было первое пробуждение, и будущее рисовалось в такой заманчивой радужной перспективе. Рубцов,

кажется, понимал мое настроение и сам заражался юношеским восторгом.

— Знаете, что я вам скажу? — говорил Рубцов, раскуривая папиросу не с того конца. — Мы никогда не замечаем своего счастья, как не замечаем своего здоровья... Вернее сказать, мы понимаем счастье только задним числом. Вы это после поймете, когда жизнь помнет вас хорошенько... да. Может быть, поймете и то, почему Рубцов так глупо разревелся давеча над студенческой песенкой... Да, батенька, и глупости наши имеют свою цену, поелику в них кроется зерно поэзии.

Рубцов первый засмеялся над своим философским заключением, потряхнул головой и заговорил о естественных науках. Самая непоследовательность в мыслях Рубцова имела для меня необъяснимую прелесть, потому что как нельзя более отвечала моему душевному настроению. Естественные науки приклеились необыкновенно плотно к казанским профессорам, и я чувствовал, что именно вот за эти естественные науки и отдам всю душу — воображение рисовало самые фантастические картины занятий в химической лабо-

ратории, физиологические опыты, чтение хороших, умных книжек.

— Теперь все это для вас не так еще понятно, — ораторствовал Рубцов, складывая ноги калачиком, — а вот когда вы выплывете на свежую воду, как мы, да потретесь среди людей, ну, тогда и поймете... Наука — святое дело, она образует великую семью. Вот нас с Петькой судьба забросила на Урал, вон в какой медвежий угол; да здесь с ума сойдет живой человек, если бы не наука. Будет время, и вы помянете Рубцова добрым словом.

В порыве охватившего его увлечения Рубцов предложил мне посвятить меня в тайны первоначального естествознания, чтобы подготовиться постепенно к университетским занятиям. Мне до окончания курса оставался целый год, и нужно было дорожить временем. Конечно, я принял это великодушное предложение с восторгом, и, чтобы скрепить наш случайный союз, мы опять играли на гитаре и пели студенческие песни. Отрезвившийся на воздухе Рубцов опять опьянел и опять готов был расплакаться.

— Родимый мой... Михал Павлыч... — заго-

ворил Потап, пользуясь хорошей минутой. —
Стаканчик бы... а?... Заслужу...

— Отвяжись... надоел!.. Разве ^орошо так приставать?..

— Сам знаю, что нехорошо, родимый мой...
Уж што тут хорошего, известное дело: одна
наша слабость...

— Ну, хорошо: я тебе дам стаканчик, а ты
спой, знаешь, ту песню, которую я люблю...

— Изуважу... Это «На заре-то было, да на
утренней»?

— Да, да...

Выпив стаканчик, Потап присел к огоньку,
приложил руку к щеке, закрыл глаза и еще
сильным голосом затянул проголосную
уральскую песню:

*На заре-то было, да на утренней,
На восходе-то красного солныш-
ка...*

Нужно отдать справедливость Потапу, что
он пел мастерски, с той захватывающей душу
энергией, как поют старые проголосные пес-
ни одни раскольники. Рубцов как-то весь рас-
пустился и размяк, напрасно стараясь подпе-

вать старику. Песня катилась по всему прииску и необыкновенно гармонировала с этой душистой летней ночью, с этим бесконечным лесом, с догоравшим огоньком и молочной, шевелившейся кругом нас мглой. Некоторые ноты Потап брал всей грудью, и песня лилась далеко-далеко, отдаваясь эхом по всему логу.

Ты, дуброва ли. дубровушка зеленая!..

*По тебе, моя дубровушка,
По тебе мы множко гуливали.
Мы гуляли — не нагуливались.
Мы сидели — не насиживались...*

— «Эх, хорошо старый черт поет... — шептал Рубцов, закрывая глаза от удовольствия. — Да... «множко гуливали...» «Мы сидели — не насиживались...»

Но в этот момент из ночного тумана, точно навстречу стариковской песне, чистою и звонкою, как серебро, нотой, поднялась другая — пел свежий женский голос, и песня то замирала, то опять поднималась, точно она плыла вместе с этим туманом. Рубцов вздрогнул, открыл глаза и, как очарованный, долго прислушивался к доносившимся звукам. На

лице у него выступили розовые пятна, глаза засветились... Потап тоже остановился и, прислушавшись, проговорил:

— Ишь, шельма, это моя Солонька залива-ется...

Рубцов неожиданно вскочил и, как был, без шапки и в одной рубаше, побежал под гору и сейчас же скрылся в тумане. Потап ринулся за ним.

— Михал Павлыч... родимый мой!.. невозможно!.. — кричал старик, тоже исчезая в тумане. — Ужо тебя старуха-то!.. Миха-ал...

Слышно, было, как звонко гудели шаги бежавших. Кто-то, кажется, упал в воду, потом из тумана донеслись замиравшие крики Потапа: «Михал Павлыч... родимый мой!» А Солонька продолжала свою песню с теми необыкновенно высокими переливами, как поют кержанки: отдельные звенья песни то замирали, то опять поднимались, и казалось, что она все удалялась куда-то в лес.

IV

Вместо того чтобы ранним утром отправиться на охоту под Липовую гору, как мы уговорились с вечерах Рубцовым, я проспал самым бессовестным образом и проснулся только в десять часов, когда летнее солнце заливало своим горячим светом всю комнату. Меня разбудил чей-то тихий смех и молчаливая возня.

Открыв глаза, я сначала не мог сообразить, где я. Рядом со мной на походной кровати мертвым сном спал Рубцов, и это объяснило все — я припомнил свое вчерашнее знакомство до мельчайших подробностей.

На письменном столе, как и вчера, стоял кипевший самовар, а около него с книгой в руках сидел Блескин. Я несколько минут наблюдал идиллическую картину, которая вызвала разбудивший меня смех. По письменному столу бродил маленький серый котенок, который и составлял главное действующее лицо происходившей немой сцены. Блескин укладывал какую-то большую тетрадь на самый конец стола таким образом, что один ко-

нец выдавался вперед; на этот выдавшийся конец тетради он помещал кусочек булки, обмакнутый в сливки. Серый котенок своими умными зелеными глазами долго наблюдал устраивавшуюся ловушку, несколько раз обходил кругов самовара, пробовал качавшуюся тетрадь своей мягкой бархатной лапкой и кончал тем, что не мог удержаться от соблазна — он осторожно полз по тетради к кусочку, а потом летел на пол вместе с ловушкой. Это и заставляло Блескина смеяться до слез. Испуганный собственным падением, котенок несколько времени сидел под табуреткой, потом съедал приманку и кончал тем, что опять взбирался на стол. Блескин смеялся тихим душевным смехом, откинув свою красивую голову назад, и я никак не мог узнать в нем вчерашнего серьезного студента, который казался мне таким недоступным и сердитым человеком.

Разыгравшийся котенок кончил тем, что уронил со стола стакан с чаем и, как молния, исчез в окне. Это вызвало уже настоящий хохот Блескина. Рубцов проснулся, посмотрел крутом заспанными красными глазами и бес-

сильно уронил в подушку свою трещавшую от похмелья голову.

— Петька, перестань дурачиться... — ворчал он, закрывая глаза.

Через полчаса мы уже сидели за чаем. Блескин опять читал свою книгу, котенок спал у него на плече. Рубцов пил свой стакан молча, все ощупывал свою голову, морщился и старался смотреть куда-то в угол. Явившийся штегерь Епишка, вороватый мужик с разбежавшимися глазами, нарушил эту молчаливую сцену.

— Петр Гаврилыч, пожалуйста на машину... — отрапортовал Епишка, вытягиваясь у порога во фронт. — Маленькая неполадка случилась. Тоже вот отвод надо сделать черновлянам... Делянку новую просят.

Блескин молча поднялся с места, снял с гвоздя суконную синюю фуражку, глубоко надел ее на голову и молча последовал за штегерем. Мы остались в конторе одни. Мне предстояло поблагодарить за ночлег и отправить-ся восвояси.

— Вы куда это? — удивился Рубцов, когда я

начал прощаться. — Нет, батенька, так порядочные люди не делают... Сначала позавтракаем, а потом побеседуем. Я ведь помню все, что вчера говорил вам. Только вот в голове эскадрон ночевал...

Рубцов вытащил из угла непочатую бутылку водки и вылил большую рюмку.

— Перепаратил вчера малость, — объяснил он, пряча бутылку и рюмку.

Выпитая рюмка произвела надлежащее действие, и Рубцов точно стряхнул с себя тяжелое похмелье. Мы опять говорили о естественных науках, перебрали лежавшие на полке книги, и тут я в первый раз познакомился с ботаническими картинами Шлейдена, с Мошоттом, Либихом, Циммерманом, Бюхнером и т. д. Отдельно стояли сочинения Бокля, Дрепера, Прудона, Добролюбова и Писарева. Рубцов брал одну книгу за другой, читал из них свои любимые места, а одну разтрепанную книжку даже поцеловал. Вернувшийся с прииска Блескин застал нас за микроскопом — мы рассматривали кровообращение в перепонке живой лягушечьей ноги.

— Ну, что? — коротко спросил Рубцов при-

ятеля.

— Ничего... — как-то нехотя ответил Блескин, усаживаясь на свое любимое место к столу. — Этот Епишка — настоящий дурак. Наврал бог знает что...

— Э, батенька, старая истина!.. — засмеялся Рубцов добродушно. — Это настоящая *bestia priiskoviana*[4]

После завтрака из великолепных рябчиков и редиски мы отправились с Рубцовым на прииск.

— Надо немножко проветриться, а то глазна зело трещит, — объяснял Рубцов, спускаясь с крыльца.

Днем прииск представлял собой необыкновенно пеструю картину. Сотни рабочих, как мухи, облепили выработки, свалки и те места, где шла промывка золотоносного песка. Главное движение сосредоточивалось по течению реки Мочги, которая вверху была запружена, а внизу разбегалась десятками канав и желобов к отдельным вашгердам. Вода была желтая и глинистая; по краям канавок и на берегах за ночь образовался целый слой липкой, специально приисковой тины. По из-

вилистым дорожкам бойко катились приисковые двухколесные таратайки. В выработках мелькали мужичьи шляпы, около вашгердое пестрели яркие сарафаны, у балаганов дымились огни и бегали по траве забытые ребяташки. Мы обошли весь прииск, хотя солнце начинало уже припекать без всякого милосердия. Рубцов осматривал работы и едва успевал отвечать на вопросы ходивших за ним рабочих.

— Да ведь Петр Гаврилыч был здесь, что вы пристали ко мне? — ворчал он.

— Нет, уж ты, Михал Павлыч, как ни на есть, погляди, — бормотали голоса. — Уж мы тебя знаем... Петр Гаврилыч точно што были, только ведь к ему тоже не вдруг подойдешь.

— Ругается?.. — с улыбкой спрашивал Рубцов.

— Кабы ругался, так ищо ничего... Хуже: молчит.

— Вот и подите потолкуйте с ними, — обратился Рубцов уже ко мне, как к незаинтересованной стороне. — Нужно, чтобы человек ругался.

Мы побывали на промывальной, где попы-

живала паровая машина, потом заглянули в выработку Потапа и остановились отдохнуть у Потаповского вашгерда. От выработки, где работали мужики, до вашгерда было сажено сто. Гордей добывал в глубокой яме пески и выбрасывал их наверх, на особые деревянные подмости, откуда их наваливали в таратайку, и десятилетний внучек Потапа вез добычу к вашгерду, где работали одни бабы — старая Архиповна и жена Гордея растирали пески железными лопатами, а Солонька, как самая сильная, подбрасывала на грохот новых песков или сгребала нараставшие кучи галек.

— Бог на помочь! — здоровался Рубцов, когда мы подошли к бабам. — Ну что, Архиповна, много ли намыла сегодня?

— С полфунта будет, — ответила Архиповна и неприветливо покосилась на нас.

— Маленьких полфунта.

— Все наши, и большие и маленькие.

— Так...

Рубцов немножко смутился и не знал, в каком тоне поддержать разговор. Солонька не обращала на нас никакого внимания и ловко подбрасывала песок на вашгерд: железная ло-

пата у нее в руках походила на какую-то игрушку. Я только теперь рассмотрел первую приисковую красавицу — она именно хороша была на работе. Из-под надвинутого на лоб кумачного платка так задорно и бойко глядели темные глаза, а свежее лицо светилось молодым, здоровым румянцем. Голые ноги и руки не знали устали. Рубцову, видимо, хотелось заговорить с Солонькой, но он стеснялся старухи и кончил тем, что раскурил папиросу.

— Эк тебя взяло с этим табачищем... — заворчала Архиповна, сердито отплевываясь. — Шел бы ты, Михал Павлыч, лучше к себе в контору. Нечего тебе с бабами тут делать...

Эта выходка заставила Солоньку едва заметно улыбнуться, и она лукаво вскинула глазами на Рубцова, который вдруг както съёжился и торопливо сосал погасшую папиросу.

— Чистый дьявол эта старуха!.. — ругался Рубцов, когда мы шли по прииску домой. — И задними и передними ногами бьет... Ну, да это все равно!.. Слышали, как вчера вечером пела Солонька?..

День выдался необыкновенно жаркий, так

что накаленный воздух переливался и струился, как вода, что бывает только в самый сильный зной. Ветра не было, и все кругом застыло в тяжелой истоме. Молча стоял лес, не шепталась трава, не слышно было птиц, только неутомонный дятел где-то недалеко долбил сухое дерево. Несколько артелей пошабало. Виднелись группы обедавших рабочих. В одном месте около балагана успевшие отобедать спали на траве в самых отчаянных позах, точно раздавленные, как спят люди после каторжной, страдной работы. Попался штегер Епишка, бежавший куда-то с пустым котелком в руках. Он издали снял кожаную фуражку и улыбнулся своей вороватой улыбкой. Блескин сидел у окна в одной ситцевой рубашке с расстегнутым воротом, а котенок ползал у него по широким плечам.

У самой конторы нас догнал Потап и без всякой церемонии объявил свое неперменное желание «починить башку».

— Ты с ума, кажется, сошел? — рассердился Рубцов. — Что у меня разве кабак?..

— Невозможно, Михал Павлыч... мне просто житья от моей старухи не стало, а все из-

за тебя. Поедом ест старая крымза... А уж я услужу, Михал Павлыч, родимый мой!..

Рубцов только засмеялся и подал старику в окно целую бутылку водки.

— Всю мне, Михал Павлыч? — изумился Потап, не решаясь принять свалившееся с неба сокровище.

— Всю... Да, пожалуйста, убирайся к черту на хвост, надоел!..

Потап сунул бутылку за пазуху и сначала бегом побежал через прииск к своему балагану, но вернулся с полдороги и скрылся где-то в кустах.

За обедом и после обеда опять шли те хорошие молодые разговоры, которым и конца нет. Теперь говорил больше Блескин и, нужно отдать ему справедливость, говорил лучше, чем Рубцов. Он обстоятельно объяснял великое значение естественных наук, особенно химии, и самым простым языком рассказывал историю каждой науки в отдельности. Зоология, ботаника, анатомия, физиология — все это были такие великие науки, без которых невозможно ступить шагу. Ни психологии, ни истории, ни философии в настоящем

смысле слова еще и не было, потому что все эти науки должны основаться на естествознании, которое еще делает свои первые шаги.

Рубцов сидел на окне, курил одну папиросу за другой, плевал за окно, стараясь попасть в котенка, спрятавшегося в траве, и напевал на какой-то необыкновенный мотив строфы из Гейне;

*У меня глубоко в сердце
Золотой поставлен столик...
И, сидя на табуретках,
В карты дамочки играют...
Но с лукавою улыбкой
Все выигрывает Клара...*

С прииска я ушел только вечером, унося в своей охотничьей сумке штук пять хороших книжек. Это было такое молодое счастье, которое не повторяется. В голове бродил какой-то блаженный туман, и будущее казалось так хорошо, просто и открыто; вот в этих книжках, тянувших сумку, как кирпичи, все сказано, что нужно. Я даже смеялся от радости.

На опушке леса я неожиданно наткнулся на очень веселую группу: старый Потап, ку-

чер Софрон и штегеръ Епишка сидели с красными лицами на траве, — они, очевидно, угощались даровой господской водкой.

Все лето для меня прошло в каком-то чадуге, хотя я жил только, собственно, на Мочге, куда отправлялся каждую неделю раза три. Студенты оставались прежними студентами, и моим идеалом сделалось быть таким же естественником, как Блескин. Да, это был настоящий идеальный человек, и каждый раз я открывал в нем какое-нибудь новое достоинство. У Рубцова не хватало солидности и той выдержки характера, которая так неотразимо действует на молодую натуру.

Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире. Действительность сосредоточивалась в приисковой конторе на Мочге, где всегда было так упоительно хорошо... Много лет прошло, а я как теперь вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики геологии Ляйеля, «Мир до сотворения человека» Циммермана, «Человек и место его в природе» Фогта, «Происхождение видов» Дарвина и т. д. и т. д. Сколько бессонных ночей было проведено за чтением

этих книжек, и вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то слепое поклонение. Хорошие книжки перемешивались с хорошими разговорами, тихими вечерами, беседами, а иногда горячими спорами студентов. Да, это было хорошее и счастливое время, и мне от души жаль ту молодежь, которая не испытывает ничего подобного, да и неспособна испытать: не те времена, а «что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни».

Погода все время стояла отличная. Изредка перепадали редкие дожди, точно затем только, чтобы горы умылись и лес зеленел еще красивее.

— Вот вам, братику, великая книга, читайте ее! — ораторствовал Рубцов, указывая из окна на горы и лес. — Тут все: и ботаника, и геология, и зоология, и поэзия... Остальное все бирюльки и пустяки.

— То есть что остальное-то? — лениво спрашивал Блескин.

— А все остальное, чем тешились раньше: стишки, музыка, чувствительные романы, картинки разные, идолы, ну, вообще, так на-

зываемое искусство и quasi[5] -наука. Гиль и ерунда.

— Однако ты плачешь над гитарой?..

— Это атавизм, Петька... Ветхий человек сказывается. Значит, еще не укрепился в настоящей поэзии, а нужно непременно что-нибудь этакое дрянненькое, кисло-сладкое, вообще гнусное...

— Ну, это уж ты врешь, братец.

— Как вру?

— А так. Не знаешь меры... Искусство тоже необходимо, только хорошее и здоровое искусство: и музыка, и пение, и живопись, и скульптура.

— Да, нужна фотография, нужны рисовальщики для хороших сочинений, нужны, пожалуй, две — три хороших песенки, нужно умение приготовить из папье-маше манекена, нужна музыка для домашнего обихода, то есть когда играет Софрон на своей гармонии, нужны национальные танцы, чтобы встряхнуться, и только.

Этот вопрос об искусстве был неисчерпаемой темой для споров, и Рубцов в заключение всегда ругал приятеля «расслабленным эсте-

ТИКОМ».

— Если уж ты хочешь, так вот в этой лягушке, которая корячится в банке, все твое искусство сидит, — кричал Рубцов, бегая по комнате.

— Ну, это, брат, началась базаровщина... — отвечал обыкновенно Блескин и смолкал.

Мне особенно нравилась та серьезная простота, с какой держали себя мои друзья относительно рабочих. Живость Рубцова уравновешивалась солидностью Блескина, и вместе они составляли великолепную пару. Именно они особенно хороши были вместе, как я понял много лет спустя. От заигрываний с меньшим братом в равноправность удерживало обоих известное чувство меры, да и приисковые рабочие как-то совсем не подходили под идеальное представление настоящего мужика. У Рубцова, правда, была слабость почитать хорошую книжку комунибудь из молодых рабочих, но результаты появлялись самые плачевные: слушатель потел, ежился и кончал тем, что или просил иа водку, или начинал прятаться. Единственным плюсом в этих попытках было то, что Рубцов выучил

грамоте кучера Софрона и штегеря Епишку. Подвергался опытам и старый пьяница Потап, но он ни за что не хотел читать гражданскую печать.

— Нет, с нашими приисковыми мужиками ничего не поделаешь, — решил Рубцов. — Какие-то они очумелые совсем... Толкуешь, толкуешь ему, а отвернулся, он — свое. Выучил Епишку с Софроном читать, дал им хороших книг, а они потихоньку от меня читают Бову да какой-то солдатский песенник.

— Значит, не умеешь взяться за дело... — коротко объяснял Блескин.

— Ну нет, тут нужно со школы начинать, братику... Может быть, бабы лучше пойдут. Как-нибудь надо попробовать с Архиповной.

— Да она грамотная, кануны «говорит» по покойникам.

— Ну, тогда с Солонькой... Бойкая девка.

— Попробуй. Как раз дело кончится клубничкой, на помещичий манер... Ты к тому же и стихи Гейне любишь, а там эта реабилитация плоти в совершенстве объясняется.

— Ну, ну, пошел! Тебе бы с Архиповной кануны говорить.

Приисковые рабочие по вечерам часто собирались около приисковой конторы. Где-нибудь тренькала балалайка, и непременно плясали. По праздникам приходили девки и «заводили» хороводные песни. Блескин посылал им самовар, чаю и пряников, сам подолгу стоял на крыльце и издали смотрел на чужое веселье. Рубцов, конечно, не мог смотреть с таким философским спокойствием на живых людей и непременно вертелся в девичьем хороводе, где пел песни и плясал с замечательным искусством, особенно когда выходила на середину круга подсаDISTая Солонька.

— Ай да Михал Павлыч, ловко откалывает!.. — восхищались все рабочие. — Форменно... Ну-ка, Солонька, подкозырни барину-то.

Мне казалось, что все эти рабочие ловкую пляску Рубцова ставили неизмеримо выше всех его остальных достоинств — это было просто обидно, хотя Рубцов сам любил посмеяться над этой особенностью народного понимания.

— Все-таки добрым словом помянут: «Ловко плясал Михал Павлыч!» — смеялся он своей грустной улыбкой. — Ведь если разобрать,

так целая трагедия античная получится из этого непонимания.

Наступившая осень давала себя чувствовать. Первый утренник расцветил лес яркими желтыми пятнами, а где попадались осины — этот лес точно был обрызган кровью. Время для охоты наступало самое лучшее, но мне приходилось думать об отъезде. На Мочге все было по-прежнему. Только раз мне пришлось сделаться невольным свидетелем одной странной сцены. Я брел с ружьем на прииск прямым путем, то есть лесом. В одном месте нужно было перейти узкую лесную прогалину, где обыкновенно паслись приисковые лошади. Знакомый смех и громкий голос заставили меня оглянуться. Как раз против меня на опушке стояла с уздой в руках Солонька, а Рубцов обнимал ее и целовал в шею. Солонька закидывала голову назад и от щеколки заливалась своим звонким смехом.

— Отстань, некошнбй!.. — кричала она, делая слабую попытку освободиться от барских объятий. — Я вот тебя так окрещу уздой-то... Эк, привязался!..

Рубцов что-то шептал ей на ухо и продол-

жал целовать. Мое положение было самое глупое, какое только может выпасть на долю недоросля. Оставалось ретироваться, но я это сделал так неловко, что Солонька оглянулась в мою сторону и с визгом скрылась в лесу. Рубцов стоял на прежнем месте и теребил свою бородку с самым растерянным видом. Я чувствовал, что краснею, но пришлось выходить из невольной засады. Вероятно, мой жалкий вид, когда я подходил к Рубцову, рассмешил его, и он проговорил с улыбкой:

— Ах, молодой человек, молодой человек... Разве хорошо целоваться с Солонькой?.. Стыдитесь. Я вот скажу Петьке, какие вы опыты производите по естествознанию.

Шутка вышла тяжелая, и мы стесняли друг друга. В моих глазах Рубцов потерял прежнее обаяние: эти поцелуи и визг Солоньки не имели ничего общего с тем, что говорилось обыкновенно в конторе, да и Рубцов, очевидно, скрывал свое поведение от Петьки. Выплывала двойная ложь. Что общего могло быть между Солонькой и Рубцовым, и к чему могло все это повести?.. Помню, как мне было стыдно и больно за этот импровизированный

роман, и всего удивительнее было то, что я не мог больше смотреть прямо в глаза Рубцову, точно действительно виноват был я. Обидное чувство какого-то обмана и фальши не могло улечься и долго после, когда я припоминал эту сцену.

Это был мой последний визит на Мочгу. Мне тяжело было бы встретиться еще раз с Рубцовым, да и мое присутствие, видимо, его стесняло, точно что-то порвалось между нами.

— Увидимся через год, когда вы будете уже студентом, — говорил Блескин на прощание.

Рубцов, против обыкновения, молчал и только ерошил волосы. Я проклинал глупую сцену в лесу вместе с Солонькой.

Через неделю я уехал в губернский город дотягивать лямку своего ученического существования и, странное дело, очень скоро забыл то тяжелое чувство, которое было вызвано последним путешествием на Мочгу. Молодость именно тем и хороша, что она не помнит зла и идет навстречу добру с распростертыми объятиями. Иногда мне казалось, что я создал в собственном воображении сцену

свидания Рубцова с Солонькой в лесу и что в действительности не только ничего подобного не было, но и не могло быть.

Прошел последний год бесцветной ученической жизни, и я сделался почти студентом. Понятна та радость, с какой я летел в родной угол, в свою горную глушь, и первым делом, конечно, отправился проводить своих друзей на Мочге.

Прииск расширился. Лес по течению Мочги был вырублен еще дальше. Работы с прежнего места спустились ниже. Около приисковой конторы образовался пустырь: брошенные ямы, обвалившиеся канавки, размытая плотника, высохший пруд, зараставшие травой перемывки и т. д. Жизнь точно ушла отсюда, предоставив мертвой природе залечивать нанесенные человеком раны и царапины. Приисковая контора стояла на прежнем месте, и первое, что бросилось в глаза еще издали, был свежий прируб. Это значило, что дела на прииске шли вперед и прибавили помещение для какого-нибудь нового служащего. Другие постройки остались в прежнем виде: тот же магазин для разных приисковых припасов, та же людская, где жили кучер Со-

фрон и штегеръ Епишка, те же конюшни и легонький навес для экипажей. Прируб был приставлен к глухой стене конторы и выходил окнами прямо в лес; маленькое крылечко было затянуто парусиной, как на даче.

Когда я подходил к конторе, было еще довольно рано — часов десять. Солнце начинало только еще припекать, и собаки наслаждались безмятежным покоем в тени крылечка. Им, видимо, было лень даже лаять, и только какой-то желтый барбос встретил меня глухим ворчанием. Одно окно конторы было открыто, и, как мне показалось, в нем мелькнуло женское лицо. Признаться сказать, для меня это было неприятной новостью. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь.

— Войдите... — отвечал изнутри знакомый голос Блескина.

Представившаяся мне картина не требовала объяснения. У окна стоял тот же письменный стол; на нем стоял тот же кипевший самовар, и Блескин сидел так же со своим стывшим стаканом чая, заложив ногу за ногу, а около него сидела Солонька и при моем появлении быстро спрятала какую-то книжку за

спину. Она была одета в шерстяном платье какого-то необыкновенного линючего цвета и в красном платке, повязанном по-бабьи. У стены, где мы когда-то спали с Рубцовым, стояла детская кроватка, и в ней спал разметавшийся ручонками ребенок.

— Ах, это вы... — здоровался Блескин, оглядывая меня из-за своих очков. — Давно ли в наших краях?

— Только что успел приехать...

— Рубцов будет очень рад... Он где-то на приiske. Соломонида Потаповна, вы что же это книжку-то прячете?..

— Да так... — кокетливо проговорила Соломонида Потаповна, продолжая прятать за спиной книжку. — Так я испугалась, Петр Гаврилыч, — до смерти.

— Нужно говорить: испугалась...

— Уж вы всегда перешибете на каждом слове... А я все-таки испугалась... да! то вы ко мне пристали?

— Не кричите, пожалуйста, испугаете ребенка...

— Чего ему делается? Спит...

— Вы хотите чаю? — предлагал мне Блес-

кин, вероятно, чтобы прекратить неловкую сцену. — Я ведь здесь в гостях, а сам живу рядом, в новом прирубе.

Пока шел обыкновенный в таких случаях разговор, я успел рассмотреть те перемены, которые были произведены в этой комнате присутствием Соломонида Потаповны. О детской кроватке я уже говорил. В углу стояли два новых зеленых сундука невьянской работы, тут же висел разный женский хлам, принадлежавший хозяйке, — новое ситцевое платье, барашковая шуба, пестрая шаль в мещанском вкусе, кумачный сарафан и т. д. Появился в углу дрянной шкафчик с чайной посудой, на окнах ситцевые занавески и герани, на стене несколько лубочных картинок, в углу образок, двуспальная кровать и даже ковер перед ней. Любимая моя полочка с книгами исчезла совсем, а книги Рубцова просто валялись в углу и были покрыты толстым слоем пыли. Такую же печальную участь разделял и микроскоп, торчавший на окне. Детские пеленки, две — три игрушки и тот специальный беспорядок, какой бывает только в детских, довершали общую картину.

Соломонида Потаповна — прежней Солоньки, щеголявшей в подбористых сарафанах, больше не было — не вступалась в наш разговор и сердито перебрасывала какие-то вещи в углу под кроватью. Она была еще красивее, чем раньше, той смягченной и теплой красотой, какая дается только молодым матерям, но все это было испорчено шерстяным платьем мещанского покроя с невозможными оборками и короткой талией. Оно сидело на Соломониде Потаповне, как на корове седло, в особенно делало безобразной ее талию; то, что было так хорошо в сарафане, никуда не годилось в платье. Могучая спина приисковой красавицы теперь казалась просто безобразной, как и эти рабочие мозолистые руки и большие ноги, неловко ступавшие в новых козловых ботинках со скрипом и каблучками назад.

Чувствовалось что-то натянутое во всей обстановке, именно то, отсутствием чего раньше и была красна жизнь в этой комнате.

Вернувшись с прииска, Рубцов был, видимо, не в духе и как-то тяжело покосился на Соломониду Потаповну, которая не обращала на

него никакого внимания.

— Ну, а что мой плод? — любовно спрашивал Рубцов, наклоняясь над детской кроваткой. — Спит, каналья... Вот всегда так: днем выпится, а ночью подымет такой гвалт, что жизни не рад.

Лицо у Рубцова заметно осунулось и загорело. В больших глазах уже не было беззаботного огонька. Прежней оставалась только поддевка, высокие сапоги и ситцевая рубаша, как и у Блескина. В разговоре Рубцов иногда забывал, что спрашивал, или отвечал невпопад — вообще к прежней рассеянности прибавилась какая-то тяжелая забота, одна из тех, о которых не говорят.

— Обедать, што ли, будем, Соломонида Потаповна? — обратился Рубцов к своей сожительнице с неприятной иронией в голосе и при этом оглянул ее с ног до головы.

— Не поспело еще... — коротко ответила та и отправилась в кухню, захватив с собой узелок грязного детского белья.

— Терпеть не могу я этих проклятых платьев... — точно застонал Рубцов, когда дверь затворилась. — Хоть ты ей кол на голове те-

ши!.. Ведь безобразие... мещанство. Не правда ли? — обратился он неожиданно ко мне. — И сколько ей ни толкую, чтобы ходила в своих сарафанах, — ничего не берет...

— Соломонида Потаповна совершенно права по-своему, — спокойно заговорил Блескин. — Ей так нравится — значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее одеваться именно так, как это тебе нравится, это... просто самодурство. Прежде всего в каждом человеке нужно уважать его личность.

— А если это безобразно, вот это самое шерстяное платье? И если Соломонида Потаповна не понимает этого безобразия? Я только желаю объяснить ей, а не принуждаю... Думаю, что я немножко больше ее понимаю, и на этом основании беру на себя смелость давать советы.

— Напрасная самоуверенность... Все это дело вкуса, а о вкусах не спорят.

— Наконец, если вообще мне это неприятно?.. Мне просто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье с оборками...

— Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещанский эгоизм.

— Вот не угодно ли, — обратился опять Рубцов ко мне, как к третейскому судье — Их двое, а я один... Стоит мне рот раскрыть, как у Соломюниды Потаповны является защитник, и я же остаюсь кругом виноват.

— Что же, я могу и не говорить... — заметил Блескин все с тем же неуязвимым спокойствием.

Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате своим мелким) шагом.

Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой, и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой. Но это веселое настроение быстро сменилось первой гримасой, кряхтеньем и отчаянным плачем.

— Эк тебя взяло!.. — выругался Рубцов, оглядываясь. — Куда это моя дама ушла?.. Вечно уйдет именно в то время, когда ребенок проснется...

— Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя, — объяснял Блескин, поднимаясь с места. — Или, может быть, ребенок выжидает,

когда останется с глазу на глаз с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить...

Блескин спокойно подошел к кровати, спокойно взял своими большими руками плакавшего ребенка и вынул его из кровати. Маленький плакса сейчас же начал улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив светлые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розовый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же повеселел.

— Нюта... Нюта... Нюта... — повторял Блескин, осторожно подбрасывая ребенка к самому потолку. — Маленькая барышня Нюта... Смотри, какой у тебя глупый папка!..

Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо на руку своей бородатой няньки.

— А мне стоит только взять эту барышню на руки, так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее режут, — объяснял с улыбкой Рубцов. — Разбойник будет девка.

Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся заалелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина.

— Дайте мне ее сюда... — бормотала она, стараясь отнять ребенка, которого Блескин поднял к самому потолку. — Анка, Анка, подь ко мне!..

Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем настроении сели за обед. Обедали на Мочге рано, потому что вставать приходилось часов в пять утра. Когда мы уже кончали есть, в открытом окне показалась голова старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий смех.

— Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Рубцов. — Садись с нами обедать.

Голова Потапа опять показалась в окне; его лицо улыбалось нерешительно-заискивающей улыбкой.

— Спасибо, Михал Павлыч... — пробормотал старик, переминаясь с ноги на ногу. — Я уж тово, пообедал. На минутку завернул... Сейчас побегу на прииск, а то старуха загрызет. Михал Павлыч, родимый мой, всю поясницу у меня разломило...

— Тятенька, как тебе не совестно? — оговорила отца Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась. — Вот уж я скажу мамыньке,

как ты водку здесь клянчишь...

— Ну, поди, поди к матери-то!.. — поддразнивал Потап. — Она те покажет...

— Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, наливая походный серебряный стаканчик.

— Михал Павлыч, родимый мюй... то есть так ухватило, так ухватило!..

— Зачем это вы, Михал Павлыч, напрасно старика балуете? — ворчала Соломонида Потаповна. — Разве это порядок...

Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне и проговорила:

— Михал Павлыч, родимый мой... ради ты истинного Христа николды не слушай этих самых баб!

— Ступай, ступай, нечего тебе тут делать... — ворчала на отца Соломонида Потаповна.

— Солонька... кто я тебе, а?.. Значит, тебе родной отец в том роде, как березовый пенёк... ладно!.. Погоди...

Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю рюмку водки.

Мне показалось, что между друзьями про-

бежала черная кошка и что прежняя товарищеская непринужденность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует Блескина — выходило как-то так, что Блескин стоял ближе к Соломюниде Потаповне, лучше ее понимал и умел заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась та тонкость понимания, которая обходится без слов, и это мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Блескина.

Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался уже в новой комнатке Блескина, где и место было свободное на мюй пай, и заветная полочка с книжками, и, главное, сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутствием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту комнату и подолгу засиживался здесь за разными хорошими разговорами. Тут же неизменным сочленом нашей компании являлся большой серый кот. Это был тот самый серый котенок, который год назад смешил Блескина своими проделками до слез. Рубцов называл этого кота «мыслящим реалистом».

— Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста великолепный препарат сотворю, — уверял Рубцов, чтобы побесить Петьку.

Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Рубцов на время делался прежним Рубцовым, и по-прежнему мы под треньканье гитары распевали студенческие песни, а Рубцов обязательно плакал, если был выпивши, что с ним случалось довольно часто. Но вооб-

ще все это было одной формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не существовало более: являлась какая-то невидимая тяжелая рука и тушила беззаботное веселье.

Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни приисковой конторы до мельчайших подробностей, но это тяжелое новое нельзя было объяснить только тем, что в конторе поселилась Солонька, нет, дело было гораздо серьезнее. Появились такие вопросы, о которых не говорила ни одна из заветных книжек, а главное, нельзя было не предвидеть появления все новых и новых комбинаций. Из-за дразг и мелочей специальносемейной жизни Рубцова на приисковую контору надвигалась какая-то грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, которое испытывается перед грозой.

Соломонида Потаповна вела жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась читать с Блескиным, но занятия шли очень лениво, и ученица только потела или принималась зевать. Блескину стоило невероятных усилий научить ее читать, но зато дальше Соломонида

Потаповна уперлась и ничего слышать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших книжек.

— Неужели тебе хочется душой остаться? — спрашивал иногда Рубцов, выведенный из терпения. — Кажется, времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь возьмет.

— Какая уж есть... — упрямо отвечала Соломонида Потаповна, сдвигая свои соболиные брови. — Вам что за печаль: дура была, душой и останусь. Свои глаза-то у вас были... Ведь не венчаные: не поглянулась, и уйду.

— Это — какое-то идиотство!.. — возмущался Рубцов, отступаясь.

Такие разговоры обыкновенно приводили к размолвкам, но Соломонида Потаповна отлично понимала все преимущества своего нелегального положения и не упускала случая воспользоваться всеми его выгодами, то есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это невозможно — их связывал ребенок. К этому ребенку Соломонида Потаповна относилась както равнодушно, так что, собственно, возился с ним больше Блескин: он вставал для этого даже ночью. В своем роде

получалась замечательная картина: Блескин уносил в свою комнату маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней вместе с серым котом.

Любимым занятием Соломонида Потаповны было выйти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощелкивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно, в воздухе налита какая-то смертная истома, а Соломонида Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скорлупы. И это изо дня в день... Можно себе представить положение университетских друзей, когда пред их глазами торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, когда кучер Софрон начинал наигрывать на своей гармонии разные залихватские приисковые «наигрыши» или штегерь Епишка выкидывал какое-нибудь коленце помудреннее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она кокетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший ее смех.

...— Соломониде Потаповне сорок одно с

кисточкой... — галантно здоровался красно-рожий кучер Софрон, когда проходил мимо «полубарыни», залихватски подергивая свою десятирублевую гармонию.

Вороватый Епишка держался с полубарыней гораздо осторожнее и позволял себе разные колена только в отсутствие господ. Он делал безнадежно глупую рожу и раскланивался с Соломонидой Потаповной издали «по-господски», то есть расшаркивался, прижимал руку к сердцу и держал свою кожаную фуражку на отлет. Потом садился куда-нибудь на бревно и с помощью скребницы изображал, как господа читают в книжку, глядят в «микроскоп» и т. д. Софрон наяривает на гармонии, встряхивая волосами, Епишка выкидывает разные колена, а Соломонида Потаповна, сидя на крылечке, задыхается от смеха.

Не нужно было обладать особенной философской проницательностью, чтобы понять, чем вся эта история кончится в одно прекрасное утро.

Рубцову приходилось нелегко, и мы целые дни вдвоем бродили с ним с ружьями по лесу, делая привалы в излюбленных местах, где-

нибудь под Дымокуркой, на Пальнике или под Сосуном-Камнем. Это шатание по лесу всегда оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без конца декламировал разные стихи, а больше всего, конечно, из Гейне. Особенно он любил повторять гейневских рыцарей, Вашляпского и Крапулинского.

*Вместе ели, но с условием.
Чтоб по счету ресторана
Не платить им друг за друга:
Не платили оба пана...*

— Не правда ли, какая чертовская ирония? — спрашивал Рубцов, бросая ружье... — Ха-ха. Это как мы с Петькой!..

*Нет, не все еще погибло!
Наши женщины рожают.
Наши девушки им в этом
Соревнуют, подражают...*

Эти два рыцаря как-то живьем засели в моей голове, но теперь я не могу слышать этих стихов: под этой иронией крылась трагедия, та трагедия, которая одинакова как в патентованных трагических странах вроде Италии, так и в самом обыкновенном захолустье.

— Да, черт возьми, наши женщины рожают... — задумчиво повторял Рубцов, когда смешливый стих проходил. — Природа тут немножко того, нерасчетливо поступает.

Студенческая привычка выпивать у Рубцова, кажется, все росла с каждым днем, и, что было всего хуже, он начал пить один, потихоньку от других. Стесняясь показываться пьяным перед Петькой, он обыкновенно уходил куда-нибудь на прииск, пока не протрезвлялся. На охоте стесняться было некого, и Рубцов обыкновенно напивался на привалах настолько, что домой приходил с красными глазами. М^{не} эти выпивки были хуже всего, потому что пьяный Рубцов питал большое пристрастие к откровенным разговорам, а известно, что такая пьяная откровенность ставит «наперсника» в самое дурацкое положение.

Раз мы отправились после обеда за дупелями в небольшое болотце, до которого от прииска было около трех верст. Рубцов выпил дома да прибавил еще дорогой. У него утром вышел какой-то неприятный разговор с Блескиным, следовательно, нужно было вознаградить себя. Я предчувствовал, что сейчас нач-

нется излияние сокровеннейших чувств, и пожалел, что пошел на охоту.

— Да, я никого не обвиняю... — бормотал Рубцов, ступая неверными шагами. — Это уж последнее дело... да!.. Но это мне не мешает все понимать и все видеть.

Рубцов горько засмеялся и махнул рукой.

— Знаете, что мне говорил сегодня Петька?.. — продолжал он. — «Соломонида Потаповна скучает оттого, что в ее жизни произошел слишком резкий переход от тяжелой работы к безделью... Она слишком здорова и сильна для умственного труда, а ей необходима ручная работа, чтобы не сойти с ума». Чудак этот Петька... Думает, что я ничего не вижу и не понимаю!.. Вот и вы тоже... Нет, батенька, Рубцов все видит: как и Софрон выворачивает глаза на Соломониду Потаповну, и как Епишка подпускает ей туры на колесах, а Соломонида Потаповна посиживает на крыльчке, щелкает орехи и этак из-под ручки: хихи-хи!.. Так?.. Ну-с, так работа Соломониде Потаповне работой, а потом настоящий-то муж, чуть что, ее же за косы ща хорошую трепку, — вот она тогда будет золотая баба. Тот же

Софрон, если бы она вышла за него замуж, дул бы ее не на живот, а на смерть, и она же души в нем не чаяла бы... Так я говорю?..

— Нет, вы уж слишком, Михаил Павлович... так нельзя.

— Ну, уж, батенька, извините: вот так, как я делаю, это действительно нельзя, курам на смех, недаром Софрон и Епюшка считают меня дураком. Но ведь не могу же я ее бить смертным боем... Боже мой, боже мой!.. Нет, это страшно, вот на какие нелепости сводится наша жизнь... Учитесь, батенька!.. В самом деле, если разобрать всю эту историю, — ничего дурного... Живет созревший молодой человек в лесу и встречает созревшую молодую девушку; естественно, что он получает известное влечение... так? Ну, она необразованная, глупая, но зато такая здоровая и цветущая. Природа всесильна... Она делается матерью. Тут уж начинается другая аллегория... Посидимте, батенька, я устал что-то. Еще успеем дупелей погонять...

Мы расположились на лесной опушке, в тенистом уголке. Над нашими головами шатром поднималась старая рябина; вдали сине-

ли горы. Жар свалил, и из лесу потянуло вечерней сыростью. Рубцов еще выпил стаканчик из походной фляжки.

— Знаете, сначала я действовал под влиянием одного чувства, как животное... — продолжал он на ту же тему. — И красивая девка была — у кого угодно голова закружится. Ну, сошелся с ней... 'Когда чисто животный жар прошел, явилось более глубокое чувство: поднять ее до себя, выучить, дать приличное образование. А тут еще плод явился — значит, оставалось идти вперед. Ведь я сколько раз предлагал ей повенчаться — не хочет.

— Почему?

— А шут ее разберет... Раскольники они, вся семья, не признают церковного брака, а, согласитесь, венчаться мне у ихних старух тоже не приходится. Вот бы веселенький пейзажик получился: студент Казанского университета совратился в раскол... ха-ха!.. Хорошо. Ну, замуж не хочешь идти, так будем жить, а тут вот такая музыка получается... Что же мне-то делать: остается ревновать ее к Софрону «ли к Епишке, вернее, к обоим зараз?.. Или изобразить венецианского мавра Отелло?.. Но

ведь Солонька походит на Дездемону так же, как свинья на пятиалтынный... Софрон — Кассио, Епишка — Яго, а я — венецианский мавр... тьфу!.. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ведь самое страшное в таких вещах — сознание, которое гложет тебя и день и ночь... В самом деле, чем виновата Солонька, что она бессовестно здорова и глупа до святости, а я еще меньше ее виноват во всем этом, хотя она, вот эта самая Солонька, дорога мне и как объект моей страсти и как мать моего ребенка. Ведь из этой глупой личинки Нютки вырастет большой человек и скажет: «А что, тятенька, разговоры хорошие вы умел» разговаривать, а вот живете по-свински...» Понимаете: вот этот беззубый Нютин ротик и скажет... Что же получается-то? Дрянь и мерзавец ты, Михаил Павлыч, и всего твоего ремесла было откозырять трепака!..

— Ну, уж вы очень хватили!..

— Нет, позвольте... Даже самая положительная дрянь, голубчик, по всей форме, особенно если сравнить вот с этим Софроном или Епишкой... "Как бы вы думали?.. Конечно-

но, дряннь... Что бы сделал Софрон на моем месте, если бы заметил за женой шалость и если бы ее действительно любил, как это думаю я сам про себя? Самое простое дело: взял топор и рассек Солоньку на мелкие части, асам сначала со страхов убежал бы в лес, а потом, как пришел бы в себя, сейчас в волость и в ноги старшине: «Так и так, мой грех...» Вот как делает Софрон, и ему и книги в руки. Так что он, говоря логически, имеет полное право выворачивать Солоньке всю душу своей гармоникой, а Михаил Павлыч должен смотреть и казниться... Э, батенька, да тут такие кружева в башке заходят, что жизни не рад!.. Каких-то винтов не хватает, вот машина и фальшит. Вся сутьто в одном тебе сидит, а ты в жизни злостный банкрот: напечатал в газетах объявление, заманил публику, наобещал самому себе золотые горы, а хватить — в кармане кукиш с маслом. Да что тут говорить, голубчик: все это самому надо размотать... своим умом.

Опять наступила осень. Мне нужно было ехать в один из столичных университетов. Сцена прощания с Мочгой была самая трогательна я. Даже Блескин расчувствовался и со

слезами на глазах долго жал мою руку.

— Поклонитесь же Казани, как поедете мимо, — прошептал упавшим голосом Рубцов и убежал в свою комнату, чтобы скрыть душившие его слезы.

— Да, да... это хорошо, — повторил Блескин. — Учитесь много, это наше счастье... Наука — все.

Свидетелями этой сцены были Софрон, Епишка и Соломонида Потаповна. Они, видимо, ничего не понимали и переглядывались. Епишка сделал плаксивое лицо, чтобы расшевелить полубарыню.

Когда на Руси расстаются истинные друзья, они всегда дают взаимное обещание писать, но исполнение прерывается много-много на втором или на третьем письме... В данном случае было то же самое: я написал из Петербурга первое письмо и получил на него ответ от Блескина, второе осталось без ответа, а третье я уже имел право не писать.

Время катилось быстро сред» новой обстановки, новых людей и новых занятий. Я безвыездно прожил в Петербурге целых пять лет и только стороной узнал, что через год после моего отъезда с Урала Рубцов застрелился... Как, где, почему — я ничего не знал, хотя имел много оснований догадываться об истинных причинах этой печальной развязки. Это с одной стороны, а с другой, стоит развернуть любую газету, и вы везде найдете эти коротенькие известия о самоубийствах, сделавшихся настолько заурядным явлением в нашей жизни, что както даже не обращают на себя никакого внимания. Застрелился — и только, причины остались неизвестны, оста-

лась записка — «в смерти моей прошу никого не винить» и т. д. Печальное явление печальной жизни, больше ничего. Вероятно, и Рубцов оставил после себя такую же записочку, прежде чем пустил пулю в лоб, а впрочем, могло быть и иначе.

Прошло семнадцать лет. Много русской воды утекло за это время... «Мыслящие реалисты» шестидесятых годов оказались идеалистами, хотя и занимались по преимуществу точными науками. Новое поколение, не отрицавшее искусства, оказалось практичнее своих «детей-отцов», хотя в погоне за практическими целями обходилось без всяких принципиных построений. Шла какая-то громадная перестройка, и в этом рабочем гвалте вчерашние друзья оказывались сегодня врагами, а враги друзьями. Хищения, ренегатство, философия бессознательного, самоубийства, всевозможные репрессалии — все это перемешалось в шевелившийся живой ком, где трудно было что-нибудь разобрать. А «дети-отцы» с их наивным реализмом оказались такими наивными среди этой торжествовавшей «правды жизни»... Естественные факультеты пусте-

ли, молодежь стремилась в юристы, медики и тому подобные хлебные профессии!

Года два назад мне случилось ехать по Волге. Великолепный американский пароход только что отвалил от пристани в Казани и бойко пошел вниз, оставляя за собой широкий двоившийся след. День был солнечный, светлый, и публика толпилась на трапе. Показались новые пассажиры, севшие только в Казани. Тут были и студенты в новой студенческой форме, и казанские татары, и сомнительные помещики, и чиновники, и купцы разных формаций. Все любовались красавицей Волгой. Я сидел на деревянном диванчике у самой мачты и смотрел туда, в синевшую даль, где одно за другим, как бурые пятна, вставали печальные волжские села и деревушки.

В числе других пассажиров обращала на себя внимание серьезная молодая девушка лет восемнадцати, которая сидела на диванчике с книгой в руках, а около нее грелся на солнце старый серый кот. Простое летнее пальто, простая соломенная шляпа, густая темная коса, заплетенная по-дорожному; се-

рые глаза смотрели строго и как-то странно гармонировали с этим цветущим женским лицом. Таких девушек можно часто встретить на русских пароходах — все это учащийся народ: бестужевки, курсистки, слушательницы, студентки. Кто она? Куда едет? Что она читает в своей книжке и что везет в своей красивой головке туда, в родную глушь? Некоторый диссонанс представлял только кот, который ходил за девушкой, как собачонка. Ни она, ни он не обращали на публику никакого внимания: она читала, он спал.

Во время обеда девушка с котом исчезла, а вечером вышла на трап в сопровождении плотного господина в золотых очках. У него была такая великолепная темная борода, уже тронутая сильной проседью. Кот лениво шел за ними.

— Нет, ты, Аня, ошибаешься... — спокойно заговорил господин, очевидно продолжая какой-то старый разговор. Он достал сигару и, не торопясь, закурил ее по всем правилам курительного искусства.

Девушка с живостью что-то ему возражала и так любовно и ласково заглядывала в лицо.

«Вероятно, дочь или сестра», — подумал я, наблюдая интересную парочку. Но, когда господин заговорил еще раз, я узнал его по голосу: это был Блескин.

— Мы, кажется, знакомы с вами... — заговорил я. — Если не ошибаюсь, Петр Гаврилович Блескин?

— Да...

— Помните прииск Мочгу?

Блескин быстро поднялся и с несвойственной живостью заключил меня в свои объятия. Девушка смотрела на нас каким-то недоверчивым взглядом и несколько раз пытливо переводила глаза с меня на Блескина и наоборот.

— Да как это... какими судьбами? — повторял Блескин, не выпуская моей рук». — Сколько лет, сколько лет прошло...

— Лет семнадцать будет.

— Да, время не ждет. Аня, рекомендую: наш общий знакомый, который знал еще твоего отца, — отрекомендовал меня Блескин и прибавил: — А это дочь Михаила Павлыча... Помните маленькую Аню?

— Да, да... и кот, кажется, назывался мыс-

лящим реалистом?..

— О да, он самый... Это Михаил Павлыч его так называл. Послушайте, что же мы здесь будем делать, пойдемте хоть в рубку «ли к нам в каюту.

— Лучше в каюту, — заметила Аня.

Они ехали вдвоем в каюте второго класса. Пока Аня ходила распорядиться относительно самовара, Блескин с самодовольным лицом проговорил, кивая головой на затворенную дверь каюты:

— А как мы выросли-то... а? Из личинки человек вырос... Теперь Аня на курсах в Казани. Мы ведь там живем... вдвоем...

— Извините, нескромный вопрос: о смерти Михаила Павлыча я слышал; а где Соломонида Потаповна?

— Гм... Она вскоре вышла замуж за нашего штегеря Епишку. Да... Рассказывают, что она отлично устроилась, посвоему, конечно. Сначала Епишка был сидельцем в кабаке, потом писарем, а теперь, кажется, служит или членом земской управы, или даже председателем. Не шучу...

Блескин печально улыбнулся и замолчал.

Вернулась Аня и опять недоверчиво посмотрела на нас, впрочем, это могло показаться мне. Не могла же она меня ревновать к Блескину, хотя нечто подобное бывает при встрече друзей разных формаций: молодые друзья всегда немножко ревнуют старых.

— Вероятно, опять разговаривали о своей старости? — спросила Аня Блескина с едва заметной улыбкой, спрятавшейся у нее в углах рта.

— Что же, дело не к молодости идет... — ответил Блескин, снимая шляпу.

Он носил теперь длинные волосы, почему я и не мог узнать его с первого раза, да и волосы эти, как и борода, точно были перевиты серебряными нитями преждевременной седины. Лицо было такое же спокойное и очень свежее для своих лет. Блескин так же во время разговора смотрел через очки. Но вместе с тем и в этом лице, и в движениях, и во всей фигуре чувствовалось что-то новое, чего раньше не было, — это та мягкость, которую придает близость любимого человека.

Аня делала чай, а мы болтали, как это и приличествует старикам. Вспоминали жизнь

на Мочге, разные эпизоды приисковой жизни, наше знакомство и т. д. Серый кот сидел тут же, на триповом диванчике, и, сложив под себя передние лапы, точно слушал наши разговоры; он щурился, закрывал глаза и опять принимался дремать стариновской дремотой. Глядя на кота, я рассказал свое первое пробуждение на Мочге, когда серый котенок падал на пол вместе с приманкой. Девушка засмеялась, посмотрела на Блескина со счастливой улыбкой и смеющимися глазами и молча долго гладила мурлыкавшего реалиста.

— Да, если разобрать, так, право, тогда было хорошее время, — задумчиво говорил Блескин, — главное, верп была... что-то такое бодрое было в самом воздухе, и жизнь казалась такой простой.

— Везде всё клеточки учили? — спросила Аня, — Действительно, все уж очень просто.

— Это она смеется над нами, — объяснил Блескин. — И представьте себе: дочь Михаила Павльча Рубцова, реалиста до мозга костей, занимается, чем бы вы думали? Эстетикой... да. Вот где житейская ирония.

— И не эстетикой... — вспыхнула девушка, — а просто вопросами искусства! Если это меня интересует? Притом меня занимает специально научная сторона этих вопросов.

— Это и есть эстетика, голубчик. Впрочем, мы не будем вам надоедать продолжением нашего бесконечного спора: наша песенка спета... По требованиям эстетики, нужно выразиться в такой форме: мы умираем на своем посту, держа высоко знамя реализма. Так, Аня?

— Ирония к тебе нейдет, это не в твоём характере...

После чего девушка ушла, понимая, что нам хотелось о многом переговорить с глазу на глаз, тем более что многого мы не могли говорить при ней. Мы закурили сигары и несколько времени молчали. Хотелось так много сказать, и вместе так было трудно начать.

— Наша встреча так живо мне напомнила Рубцова, — прервал наконец Блескин молчание. — Как бы он был рад, бедняга... Помните, как он просил вас поклониться Казани! Да, хорошая была душа. Нынче уж нет таких вос-

торженных вечных студентов — народ все практический, ничем их не прошибешь. Да... И как он свернулся, вдруг как-то. Он же, помните, научил читать и писать нашего кучера Софрона, а Софрон взял да и написал Соломониде Потаповне глупейшую любовную записочку... Одним словом, глупость, и больше ничего. Можно было уехать с прииска, отказать Софрону, да мало ли что. Рубцов стал задумываться, похудел, молчал, а потом пошел в лес на охоту и застрелился... Девочка осталась после него полуторах лет. Ну, я ее и взял тогда к себе.

— А как Аня относится к матери?

— Да, право, трудно сказать... Возил я ее несколько раз повидаться с матерью, выходили самые неловкие сцены: Аня лозабыла мать, а у той новые дет». Вообще все это тяжелая история, о которой лучше не говорить...

— Теперь вы в Казани?

— Больше десяти лет живем. Сначала Аня в гимназии училась, потом вот на курсы поступила... (Как-то невольно молодеешь с молодыми, потому, вероятно, старики так и любят всякую молодежь.

Мы ехали на пароходе двое суток и провели время самым хорошим образом, то есть в разговорах, спорах и воспоминаниях. Дичившаяся Аня привыкла к моему присутствию и при каждом удобном случае расспрашивала про отца, которого знала, конечно, только по рассказам. Я рассказывал, что удержалось в памяти, и мне делалось больно за Рубцова, который не дожил до этого времени», когда личинка превратилась в настоящего человека. Мне тоже было немного странно видеть в этой большой Ане того ребенка, который остался в приисковой конторе на Мочге.

— Мне кажется, что я иногда его вижу, то есть отца, — говорила Аня. — Ведь он был такой добрый, хотя и бесхарактерный?.. Я представляю себе, как он пел козлиным голосом, как декламировал свои стихи Гейне, как называл Блескина попросту Петькой. Одним словом, идеалист чистейшей воды.

Когда Аня чем-нибудь увлекалась, на ее белом лбу всплывала такая хорошая морщинка, как и у отца, хотя в общем, кроме глаз, она походила больше на мать, только в другом, исправленном издании. Мне казалось, что, рас-

спрашивая про отца, девушка больше интересовалась тем, что относилось к Блескину.

— Вы его не знаете... — проговорила Аня однажды со вздохом. — Это святая, идеальная натура. Таких людей больше нет... Я всем обязана Петру Гаврилычу, который заменил мне мать, отца—нет, больше: разве так относятся к детям?.. Я ведь понимаю, что он и не женился из-за меня, а между тем он же проповедует эгоизм как основу всех человеческих поступков.

Мне нравилось лицо Ани в эти минуты—такое хорошее русское лицо и такие умные, серьезные глаза.

Через два дня наш пароход подходил к пристани, где мы должны были расстаться, — я оставлял пароход, а Блескин с Аней ехали дальше. Мы простились друзьями. Когда я пошел уже на пристань, Аня догнала меня с покрасневшимся лицом и проговорила:

— Прощайте еще раз... Кто знает, может быть, мы совсем не увидимся или увидимся лет через двадцать. Мне хотелось сказать вам один секрет: я—невеста Блескина... да!.. Мы

едем венчаться в деревню к его родным...

— Что же вы мне этого раньше «не сказали?..

— Петр Гаврилыч стесняется... Ведь я сама его высватала, а это было не легко. Ну, теперь прощайте... второй свисток.

Я едва успел выскочить на пристань, как пароход отвалил. С трапа провожали меня два счастливых лица, и Аня долго махала платком.

Нынче летом я опять был на Мочге...

Я обошел все ямы, выработки, свалки и перемывки — все это заросло молодым лесом, а по бокам высились две стены дремучего ельника, которые сомкнутся со временем, и от прииска останется столько же, сколько осталось от каких-нибудь чудских копей. На месте приисковой конторы торчало несколько покосившихся столбов да развалившийся фундамент. Везде топорщилась свежая зелень, но здесь, где было жилье, ютились большие сорные травы: лопух, глухая крапива — эти неизменные спутники человеческого существования. Где-то звонко долбил сухую ель пестрый дятел; солнце опускалось к горизон-

ту, и где-то далеко, точно под землей, погро-
мыхивала тучка. Нужно было уходить из лесу
засветло.

Примечания

1

Будем веселиться, пока мы молоды... (лаг.,) —
Старинная студенче-ская песня.

[^^^]

По чувствам братья мы с тобою — из стихотворения «А. А. Бе-стужеву», приписываемого К. Ф. Рылееву. Стихотворение было положено на музыку и стало знаменитой революционной песней.

[^^^]

В хижину бедную...— из песни Марии, героини драмы «Материнское благословение, или бедность и честь». Перевод-переделка с французского Н. А. Некрасова.

[^^^]

Приисковая бестия

[^^^]

Мнимая (лат.).

[^^^]